

*М. М. Гельфонд
Нижний Новгород*

БОРАТЫНСКИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОЭЗИИ 1960—1980-х годов

По словам лидера неофициальной ленинградской культуры В. Кривулина, «Боратынский¹ — это ключевая фигура для ленинградской поэзии. На поэтов 60-х, 70-х годов он имел влияние гораздо более сильное, нежели, скажем, Пушкин, Хлебников или Мандельштам»².

Ленинградская поэзия 1960—1980-х гг. — явление чрезвычайно неоднородное, соединяющее подцензурную поэзию и «дух культуры подпольной», подчеркнутое следование классическим традициям, принятое в околоахматовском кругу, и неофутуризм «филологической школы»³. Тем не менее именно Боратынский становится «общим знаменателем» поэзии этого периода — не случайно том Боратынского упоминается как примета времени в стихотворении Е. Рейна «Дельта» (1976):

Вот полочка: стишки и детективы,
Два номера «Руна» и «Аполлона»,
«Плейбой» и «Новый мир» и Баратынский,
Тетради с выписками, все полупустые...⁴

Различие творческих установок ленинградских поэтов 1960—1980-х годов во многом определило многообразие форм рецепции Боратынского: эпиграфы и цитаты из его стихов, «реконструкция» отдельных произведений в условиях реалий XX в., сотворение и развенчание биографических мифов, связанных с Боратынским. Эпиграф из Боратынского «Но я живу и на земле мое / Кому-нибудь любезно бытие» предваряет напечатанную в «Антологии “40”» (1977) подборку стихов поэта-минималиста Л. Виноградова. Ряд стихотворений А. Кушнера, В. Кривулина, Л. Лосева представляют собой развернутые вариации на темы, заданные лирикой Боратынского. Долгое время с Боратынским соотносил себя Бродский.

Это позволяет выдвинуть для решения в рамках настоящей статьи по крайней мере две задачи: в каких формах происходила рецепция Боратынского и в чем заключается его значение для ленинградской поэзии данного периода.

В начале 1960-х гг. интерес к Боратынскому в значительной степени был связан с личностью и стихами молодого Бродского. В рассказах о поэтическом становлении Бродский неизменно выделял эпизод, относящийся к июню 1961 г. В Якутске в ожидании отправки геологической партии он купил книгу Боратынского из серии «Библиотека поэта». «Читать мне было нечего, — вспоминает Бродский, — и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я все понял: чем надо заниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что Евгений Абрамыч как бы во всем виноват»⁵.

Этим значение Боратынского для Бродского не ограничилось. Характеризуя мировоззрение поэта начала 1960-х гг., Я. Гордин подчеркивал, насколько важное место в нем «заял зрелый Боратынский с его недекларируемой внутренней независимостью, подчеркнутой отстраненностью от гражданских бурь и стоическим стремлением осознать ужас земного существования»⁶. Жизнь Боратынского становится для Бродского как бы эталоном жизни поэта: «Я помню, как Иосиф говорил, что именно Боратынский и поставил перед ним вопрос — поэт он или не поэт. И если поэт, то должен жить как поэт»⁷. Потребность «жить как поэт» заставила Бродского в нарушение общепринятой этики неожиданно уехать из геологической экспедиции (по крайней мере, сам он, творя автобиографический миф, объяснял этот поступок именно так)⁸. По словам Бродского, «первые свои по-настоящему хорошие стихи» он написал именно после возвращения из Якутии⁹. В этот период были созданы «Петербургский роман», «Июльское интермеццо», поэма «Шествие» — произведения, с одной стороны, определившие поэтический голос молодого Бродского, с другой — свидетельствующие о глубоком прочтении Боратынского¹⁰.

Уже в стихотворении «Памяти Е. А. Баратынского» Бродский пытается осмыслить логику судьбы поэта. Произведение строится на совмещении советских историко-литературных клише с кругом намечаемых Бродским метафизических тем и образов. Первые, по-видимому, восходят к вступительной статье Е. Н. Купреяновой. Боратынский, не имевший отношения к восстанию 14 декабря 1825 г., предстает в стихотворении едва ли не декабристом: «...как жизни после декабря / так одинаково разбиты» (1, 44). Сходную трактовку судьбы Боратынского находим у Купреяновой: «...он воспринял поражение декабристов и наступившую вслед за тем реакцию как полное крушение всех лучших стремлений и надежд своей юности»¹¹. Вместе с тем ряд образов и мотивов связан со стихами Боратынского. Так, образ души, видевшей «одни великие утраты», навеян, вероятно, стихотворением Боратынского «На что вы, дни! Юдольный мир явления...» — «единственным в своем роде аспектом душевного опустошения»¹². Судьба «поэтов пушкинской

поры» у Бродского проецируется на судьбу его дружеского круга: «пока старательны пиры, / романы русские стандартны».

Разумеется, в начале 1960-х и позже, в период ссылки и возвращения из нее, речь идет не о сознательном «жизнестроительстве» Бродского, а о его реакции на обстоятельства, как бы сверяемой с поэзией Боратынского. Судьба и жизненная позиция поэта, стоицизм, трезвое осознание катастрофичности бытия становятся для Бродского своеобразной точкой отсчета. Проводя аналогию между пушкинской плеядой и теми, кого позже назовут «ахматовскими сиротами», Бродский неизменно отводит себе роль Боратынского. Так, в разговорах с Волковым он вспоминал: «...в свое время в Ленинграде возникла группа, по многим признакам похожая на пушкинскую “плеяду”. <...> Каждый из нас повторял какую-то роль... Я, со своей меланхолией, видимо, играл роль Боратынского. Эту параллель не надо особенно затягивать, как и вообще любую параллель. Но удобства ради ею можно время от времени пользоваться»¹³.

Опыт Боратынского становится особенно важным для Бродского во время судебного процесса и последовавшей за ним ссылки. Ситуация «северного изгнания» сближает обоих поэтов. В письме к И. Н. Томашевской (автору вступительной статьи и комментариев к изданию Боратынского в серии «Библиотека поэта») Бродский замечает: «Все время — в “Крестах”, на пересылках, в Столыпине — все время я читал (позволили брать книгу) Вашу статью в томике Боратынского»¹⁴. Бродский воспринимает Боратынского не как одного из «поэтов пушкинской поры», а как «классика» (позже в Нобелевской лекции он назовет Боратынского «великим»), заботясь о том, чтобы такая репутация закрепилась в читательском сознании: «Она (статья), по-моему, действительно замечательна... а своим разделением (эпигр., элегии и проч.) Вы превратили его <в> классика... за какого его никак не хотят признавать»¹⁵. В Норенской возникает замысел статьи о Боратынском: «Знакомые (в письмах) поговаривают, что, м.б., пришлют мне машинку; тогда (во что бы то мне ни стало) напишу о нем статью и пошлю ее Вам, если хотите. (Если напишу)»¹⁶.

Имена Боратынского и Бродского соседствуют также в сознании ленинградского круга поэтов. С рассказа о пометке в томе Боратынского (издание «Библиотеки поэта» 1957 г.), сделанной после разговора с Бродским летом 1962 г., начинается свои воспоминания А. Кушнер. По его мнению, разговор о Боратынском в связи с Бродским актуален потому, что «Бродский вернул русской поэзии метафизическую проблематику — и в этом он куда ближе к Баратынскому, чем к Мандельштаму...»¹⁷. Задолго до того, как Бродский в Нобелевской лекции процитировал строку Боратын-

ского о «лица необщем выраженье», Кушнер адресовал ее самому Бродскому:

Приятель мой строг,
Необщей печатью отмечен,
И молод, и что ему Блок?¹⁸

В стихотворении «Смотри же нашими глазами...» (1974), написанном на отъезд Бродского, возникает слово «пироскаф», отсылающее к предсмертному стихотворению Боратынского¹⁹:

Взойдя по лестничке с опаской
На современный пироскаф,
Дуреху с кафедры славянской
Одной рукой полуобняв,
Для нас, тебя на горизонте
Распознающих по огням,
Проверь строку из Пиндемонта,
Легко ль скитаться здесь и там?²⁰

С «Пироскафом» связано соединение имен Бродского и Боратынского в автобиографическом стихотворении Л. Лосева «Один день Льва Владимировича»:

У моря над тарелкой макарон
дней скоротать остаток по-латински,
слезою увлажняя окоем,
как Бродский, как, скорее, Баратынский.
Когда последний покидал Марсель...²¹

Если у Кушнера слово-цитата актуализирует трагический контекст («Пироскаф» Боратынского, («Из Пиндемонта») Пушкина), то у Лосева трагическое соединяется с ироническим, причем ирония распространяется не только на лирического героя, но отчасти и на Бродского, выступающего в роли Боратынского.

Именно в связи с Бродским А. Найман вспоминает о влиянии Боратынского на ленинградских поэтов и своеобразном соперничестве с ним: «Мне кажется, что в нашей молодости для нас, во всяком случае, для него [Бродского] и для меня, особняком стояли стихи Боратынского “Осень”. Это вершина русской поэзии, которую ты всегда чувствуешь и звук которой определяет вообще весь шум мироздания. Имея перед собой вот эту “Осень”, я пытался что-то такое делать в своих стихах»²². Несмотря на то что процесс литературного воскрешения Боратынского был начат двумя

поколениями русских символистов, а затем продолжен Мандельштамом, Ходасевичем, Заболоцким, Ахматовой²³, ровесники Бродского открывали Боратынского самостоятельно, преодолевая не только «тридцатилетнее зияние русской культуры» (Л. Лосев), но и разрыв с классической традицией, в особенности с поэтами, считавшимися полузабытыми и второстепенными²⁴.

Стремление «воскресить» Боратынского становится важным и для А. Кушнера, чей взгляд, если перефразировать его ироническую формулу «быть классиком — значит стоять на шкафу»²⁵, всегда обращен к миру из глубины книжного шкафа. Кушнер посвящает Боратынскому три эссе, пять стихотворений строятся как вариации на темы Боратынского (в некоторых его присутствие только обозначено)²⁶. Стихотворения Кушнера «о поэтах и стихах» создаются на стыке поэтического и литературоведческого начал. Стихи о Боратынском не исключение: Кушнер «достаивает» их, раскрывая биографический подтекст, с одной стороны, и «перспективную проекцию» — с другой. Так соотносятся две вариации на заданную Боратынским тему («На посев леса»). В ранней («Эти вечные счета, расчеты, долги...»; 1972) проступает реальность Боратынского: мурановское уединение, расчеты на полях рукописей, необходимость подведения итогов («Приближается время платить по счетам»). Поздняя («Зародыши елей, дубов и сосен...»; 1995) повествует об обретении «читателя в потомстве», оставшегося неизвестным самому Боратынскому:

Слух медленно растет, и зренье долго зреет...

Упрямый лесовод

Бесхитростную тень безгрешную лелеет

Бессумрачных еще лесных своих пород.

Тенистою аллеей,

Он знает, что не он, а внук его пройдет²⁷.

В основе полемики с Боратынским — нетрагическое мировосприятие Кушнера. Отсюда попытки «примирения» эсхатологического видения Боратынского с реалиями XX в.:

Что ни век — то век железный,

Но дымится сад чудесный²⁸.

Такая же полемика (ср. тождество синтаксических конструкций) разворачивается в стихотворении «Последний поэт» (1992):

Что ни поэт — то последний. Потом

Вдруг выясняется, что предпоследний...²⁹

По мнению Кушнера, поэта на краю Левкадской скалы должны удерживать любовь к частностям бытия и понимание того, что он вовсе не последний, за ним неизменно приходит следующий:

Кроме живой, что змеится, клубясь,
 В бедном отечестве, стыд многолетний,
 Есть еще очередь — прочная связь:
 «Я», — говорю на вопрос: кто последний?
 Друг, не печалься, за мной становясь³⁰.

Важной особенностью Кушнера является то, что его герой обращается к Боратынскому как к живому собеседнику, полемизирует с ним, спешит рассказать о том, что произошло «здесь, на земле». По признанию Кушнера, стихи, адресованные Боратынскому, «пишутся так, как будто он может их прочесть, — возможно, это и называется традицией, без которой в поэзии нельзя сделать ничего нового»³¹.

Если А. Кушнер часто вступал с Боратынским в дискуссию, то В. Кривулин развивал темы и поднимал вопросы поэта-предшественника. По наблюдению О. Седаковой, Кривулин всегда осознавал свое родство с Боратынским и Тютчевым. Оно выражалось в усилении, необходимом для восприятия стихов, в которых «нет того простого лиризма, который захватывает нас прежде, чем мы начнем что-то понимать»³². Важным оказался для Кривулина и студенческий опыт работы в Муранове:

МУРАНОВО

В усадьбе, что построил Баратынский,
 друг Пушкина, поэт и многодум, —
 есть отголосок мрачности балтийской
 в расположеньи комнат: Кабинет
 выходит окнами на север, в парк угрюмый;
 в узорчатой листве блуждает свет
 и пенится... Но здесь полутемно
 и холодно всегда, и одиноко...
 Здесь мебель проектировал хозяин —
 ее прямые линии строги,
 как рифмы точные, что накрепко связали
 полет классической строки.
 Но в этой аккуратной несвободе,
 в боязни света и неточных рифм —
 признание жизни, пристальной внутри, —
 и скрытое презрение к природе,
 к тому, что *вне*, что, смерть не осознав,
 шевелится, пищит и матерится,

как речка Сумерь весело струится,
но сборник «Сумерки» спокойно-величав³³.

Стихотворение не только воссоздает историю постройки мурановского дома и его интерьер (Боратынский спланировал усадьбу так, чтобы окна его кабинета выходили на север; сам проектировал мебель), но и дает представление о внутреннем мире Боратынского — поэта неоткровенного, замкнутого, по словам И. В. Киреевского, «в собственном бытии»³⁴. Внутренний опыт Боратынского отливается в стихах Кривулина в формулу «аккуратная несвобода», предполагающую напряженную аналитическую работу, замкнутость в «сумрачном» мире, нелюбовь к полноте и движению бытия. Характерно, что стихи о Боратынском неизменно связаны у Кривулина с размышлениями о соотношении свободы и несвободы. Поэт, искавший «свободу в тесноте стихового ряда»³⁵, апеллировал к Боратынскому, стараясь уравновесить свободу вдохновения и сознательную аскезу жесткой формы.

Интеллектуальность поэзии Боратынского, отсутствие персонафицированного героя оказались близки Кривулину настолько, что важнейшим событием его жизни стало «озарение» при чтении стихов Боратынского:

Условно говоря, я «семидесятник» хотя бы потому, что на моем внутреннем календаре отмечена ярко-красным одна дата — 5 часов утра 24 июля 1970 года. Нет, в ту ночь я не писал стихов. Я читал Боратынского и дочитался до того, что перестал слышать, где его голос, а где мой. Я потерял свой голос и ощутил невероятную свободу, причем вовсе не трагическую, вымученную свободу экзистенциалистов, а легкую, воздушную свободу, словно спала какая-то тяжесть с души. Вдруг не стало времени. Умерло время, в котором я, казалось, был обречен жить до смерти, утешаясь стоической истиной, что «времена не выбирают, в них живут и умирают». Вот оно только что лежало передо мной на письменном столе, нормальное, точное, сносно устроенное, а осталась кучка пепла. И тотчас за окном, в конце Большого проспекта, вылезло из-за дома Белограда огромное солнце. Очень большое, неправдоподобно³⁶.

На первый взгляд эта «невероятная свобода» противостоит «аккуратной несвободе» Боратынского. Но Кривулин не случайно вспоминает строки из стихотворения Кушнера, полемического по отношению к Боратынскому. Поэт, осознававший разрушительную силу «железного века», противопоставил ему опыт частного существования. Независимость от времени далась Боратынскому

ценой разрыва с читателем-современником («На посев леса»). Данный текст аккумулировал жизненный опыт Боратынского и оказался близок Кривулину, отказавшемуся от связей с официальной литературой, а значит, и от широкого читательского отклика.

Своеобразным парафразом «На посев леса» становится стихотворение «Городская прогулка» (1972) из книги «Воскресные облака». Вне учета «боратынского» контекста понять его непросто:

Да хрящ иной...
Е. Боратынский

Песок скрипящий на зубах. Частицы черной пыли.
Свеженаваленный асфальт горяч, как чернозем.
Дымящееся поле. Первый гром.
Сей жирный пласт земли — возможность изобилья.
— Да будет хрящ иной! По улицам вдвоем,
где шел ремонт, мы целый день бродили.
Да будет хрящ иной. И я спросил:
Где тот посев, где сеятель холщевый?
и у тобой затеянной дубровы
взойти хватило ль сил?
Повсюду шел ремонт. Жестокого покровы
лишенная земля — и таинства могил —
кой-где уродливо и ржаво проступала,
как пятна крови сквозь бинты...
И он ответил, что могильные плиты
совсем не тяжело откинуть покрывало,
совсем не тяжело восстать из немоты:
кто был зерном — тому и слова мало.

Кто был зерном, кто семенем — тому
да хрящ иной и вправду плодоносен,
и жизнь его продлят стволы прямые сосен,
и брошенное некогда во тьму
нас вытеснит из тьмы — и с легкостью отбросим
постель из слякоти — последнюю тюрьму.

Да, Баратынский, ты живешь. Твоя стезя,
иная слову, иглами шевелит...
Но мне-то лечь в асфальт, что над землею стелят,
не в землю, но туда, где умереть нельзя,
чтобы воскреснуть. Шел ремонт. Расплавленной
смолою
тянуло отовсюду...³⁷

«На посев леса» Боратынского создается на стыке трех жанровых традиций — восходящей к псалму инвективы, элегии и притчи³⁸, в то время как для Кривулина значим жанровый потенциал притчи. «Городская прогулка» проявляет потаенную в лирическом сюжете Боратынского притчу о сеятеле. Вместе с тем текст Кривулина тяготеет не к аллегорической, а к жизнеподобной образности: земля здесь — это «песок, скрипящий на зубах», «частицы черной пыли», «свеженаваленный асфальт», т.е. та почва, которая ни в прямом, ни в переносном смысле слова не в состоянии принять зерно. Если Боратынский отказывается от контакта с современниками и словесного самовыражения («Ответа нет! Отвергнул струны я, / Да хрящ иной мне будет плодоносен!») в пользу невербального аналога отвергнутых читателем стихов («зародышей елей, дубов и сосен»), то Кривулин идет дальше. Он пытается примерить поступок Боратынского на себя и убеждается в его бесцельности. Выход за пределы поэзии к действию представляется Кривулину оправданным («Да, Баратынский, ты живешь. Твоя стезя, / иная слову, иглами шевелит...»), но он нереализуем в условиях XX в. («Но мне-то лечь в асфальт, что над землею стелют, / не в землю, но туда, где умереть нельзя / чтобы воскреснуть»).

Тема смерти и воскресения присутствует также в связанном с Боратынским стихотворении «Белизна и дремота» (1975):

Я работал в какой-то конторе.
 Дважды в неделю корабельные сосны лежали.
 Если не падало черной субботы,
 дважды текли параллельные сну горожане.
 То бытие Баратынского, что безымянно,
 дважды в неделю ко мне объявлялось —
 полудремота-полупоступок, нет — полустанок
 (и напряженье внутри, и наружная вялость)³⁹.

«То бытие Баратынского, что безымянно» отсылает к начальной строфе лирической антиутопии Боратынского «Последняя смерть». Она представляет собой развернутое описание иррационального состояния, которое позволяет увидеть грядущую гибель человечества:

Есть бытие; но именем каким
 Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
 Меж них оно, и в человеке им
 С безумием граничит разумнее⁴⁰.

В стихотворении Кривулина речь идет также об особом состоянии «белизны и дремоты» — приобщения человека к бытию, по-

стижения «имени-смысла» вещей. Вместе с тем Кривулин сохраняет и развивает антиутопизм Боратынского:

Слепота и дремота.
И только меж ними увидишь
заходящего солнца ворота —
город, город подземный, как зыбью ворота
исчезающий Китеж.
Как забыли о страхе своем перед жизнью —
стало боязно смерти и словно теснее
то ли в городе, то ли в груди,
то ли пятна-озера на шее,
где история пальцы оттиснет⁴¹.

Если «Последняя смерть» Боратынского строится как «цепь привидевшихся картин»⁴² — от «разума великолепного пира» до всеобщей гибели, знаком которой становится «тишина глубокая», то у Кривулина исчезающая цивилизация наделяется чертами града Китежа. В образной системе стихотворения стирается граница между внешним и внутренним: человек уходит в небытие, так же как под воду легендарный город.

Итогом «боратынской» темы у Кривулина стал сонет 1989 г.:

В плену основных мотивов
лирики — несвобода
слаще которой нет

Блаженная пневматия
толпы гласных у входа
в невоплощенный сонет

Но что она значит — форма
семисотлетней пробы?
Игра? воскрешенье из гроба?
воля к жизни повторной?

Так выговаривать — чтобы
даже легким стало просторно
и на горизонте башни ливорно
тонущий луч европы⁴³

Тема «сладостной несвободы» лирики, связанная в поэтическом мире Кривулина с Боратынским, решается здесь в форме «перевернутого сонета». Движение мысли противоположно сонетно-

му канону: от итогового синтеза («В плену основных мотивов / лирики — несвобода / слаще которой нет») — к тезису, которым становится парафраз «Пироскафа». Финал сонета (как и финал «Пироскафа») подобен расширяющейся перспективе — он раскрывается во времени и пространстве. В финальных строках Кривулин воссоздает фонетический облик последней строфы «Пироскафа»:

Нужды нет, близко ль, далеко ль до берега!
 В сердце к нему приготовлена нега.
 Вижу Фетиду; мне жребий благой
 Емлет она из лазоревой урны:
 Завтра увижу я башни Ливурны,
 Завтра увижу Элизий земной!⁴⁴

Итак, что же привлекало к Боратынскому таких разных поэтов, как И. Бродский, А. Кушнер, Л. Лосев, Л. Виноградов, В. Кривулин? Попробуем наметить ряд векторов, возникших в это время в «резонантном пространстве» (В. Н. Топоров) русской поэзии.

Во-первых, в ленинградской поэзии 1960—1980-х гг. Боратынский был воспринят как северный, петербургский поэт и как предшественник новой петербургской поэзии. Даже подмосковное мурановское уединение поэта запечатлело «отголосок мрачности балтийской» (В. Кривулин). Знаками Боратынского в посвященных ему стихах становятся «декабрь» и «Балтийский лед» (Бродский); «холодный приют» — указание на могилу поэта на Ново-Лазаревском (Тихвинском) кладбище Александро-Невской лавры (Кушнер). Потаенная, почти не проявленная в стихах Боратынского судьба поэта привлекала возможностью сотворения биографической легенды, которую можно было приложить к себе («боратынский миф» Бродского).

Во-вторых, притягательными оказались те особенности поэтики Боратынского, которые пролегли вдали от магистральных путей русской поэзии (и в особенности — от поэзии советской). Жанр «большого стихотворения», сложный синтаксис, центробежное развитие лирического сюжета оказались в разной степени созвучными Бродскому, Лосеву, Кушнеру, Кривулину. На другом полюсе оказался минимализм лирической формулы («Но я живу, и на земли мое / Кому-нибудь любезно бытие»), близкий поэтам «филологической школы».

Разумеется, при всей важности Боратынского для ленинградской поэзии указанного периода востребованными оказались лишь некоторые произведения. На первый план вышли большое стихотворение «Осень», лирическая антиутопия «Последняя смерть», но особую значимость приобрели поздние тексты, написанные уже

после «Сумерек», — «Пироскаф» и «На посев леса». Эти стихи независимо от их полярности в разной мере и с разной степенью веры и отчаяния устремлены в будущее.

¹ В статье принято написание фамилии поэта через «о» — Боратынский. При цитировании поэтических текстов сохраняется написание, принятое их авторами.

² *Кривулин В. Б.* Олег Охупкин. Поэт между Афинами и Иерусалимом // Русский мирь. Пространство и время русской культуры: Альм. СПб., 2009. № 2. С. 349.

³ О поэтах «филологической школы» см.: *Куллэ В.* Спасибо // «Филологическая школа»: Тексты. Воспоминания. Библиография. М., 2006. С. 5—10.

⁴ *Рейн Е.* Избранное / Предисл. И. Бродского. М.; Париж; Нью-Йорк, [1992]. С. 261.

⁵ *Бродский:* кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд., расш. и испр. М., 2005. С. 425. Речь идет об издании: *Баратынский Е. А.* Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Е. Н. Купреяновой. Л., 1957. Относя это событие к 1959 г., Бродский, скорее всего, ошибается: в экспедиции в Якутске он был в 1961 г. (в 1959 г. состоялась экспедиция Бродского в Восточную Сибирь). Стихотворение «Памяти Е. А. Баратынского» датировано 19 июня 1961 г.

⁶ *Гордин Я.* Переключка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб., 2000. С. 146.

⁷ Там же. Гордин датирует это высказывание осенью 1963 г.

⁸ О причинах и обстоятельствах отъезда Бродского из экспедиции см. подробнее: *Полухина В.* Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. СПб., 2008. С. 49, 87.

⁹ Там же. С. 49.

¹⁰ По мнению В. А. Куллэ, «заявленное в “Июльском интермеццо” отношение к смерти восходит к столь любимому Бродским Боратынскому»: *Куллэ В. А.* Поэтическая эволюция Иосифа Бродского в России (1957—1972): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1996. Сетевая версия доступна на сайте: <http://www.liter.net/=Kulle/evolution.htm>

¹¹ *Куприянова Е. Н.* Е. А. Баратынский // Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. С. 10.

¹² *Гинзбург Л. Я.* О лирике. М., 1997. С. 83.

¹³ *Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 227.

¹⁴ *Бродский И.* Письмо из ссылки // Постскрипtum. 1996. Вып. 2(4). Сетевая версия доступна на сайте: <http://www.vavilon.ru/metatext/ps4/brodsky.html>. По всей вероятности, речь идет об издании: *Баратынский Е. А.* Полное собрание стихотворений: В 2 т. / Ред., коммент. и биогр. ст. Е. Н. Купреяновой и И. Н. Медведевой; вступ. ст. Д. П. Мирского. М.;

Л., 1936. В издании 1957 г., подготовленном Е. Н. Купреяновой, тексты размещены в хронологическом порядке.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Архив Иосифа Бродского. Ф. 1333. Ед. хр. 420. Статья не была написана; в архиве поэта сохранились лишь ее наброски, предваряющие более поздние размышления.

¹⁷ Кушнер А. Здесь, на земле... // Иосиф Бродский: труды и дни. М., 1999. С. 157.

¹⁸ Кушнер А. По эту сторону таинственной черты: Стихотворения; Статьи о поэзии. СПб., 2011. С. 60.

¹⁹ Отмечено А. В. Кулагиным (см.: Кулагин А. В. «Пироскаф» Баратынского в современной поэзии // Кулагин А. В. Высоцкий и другие: сб. ст. М., 2002. С. 156).

²⁰ То время — эти голоса: Ленинград. Поэты «оттепели»: Сб. стихов / Сост. М. Борисова. Л., 1990. С. 229.

²¹ Лосев Л. Собранное: Стихи. Проза. Екатеринбург, 2000. С. 133.

²² Полухина В. Бродский глазами современников: Сб. интервью. СПб., 1997. С. 37.

²³ Подробнее о рецепции Боратынского в XX в. см. нашу работу: Гельфонд М. М. Традиция Боратынского в лирике XX века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Н. Новгород, 2004.

²⁴ Сходный процесс «воскрешения Боратынского» происходил в это время и в официальной культуре. В 1968 г. прозвучал знаменитый диалог о Боратынском из фильма «Доживем до понедельника» («А его уже перевели». — «Куда?» — «В первостепенные»). Спустя два года была опубликована статья С. Б. Рассадина: Рассадина С. Возвращение Баратынского // Вопр. лит. 1970. № 7. С. 92—113.

²⁵ Кушнер А. По эту сторону таинственной черты. С. 80.

²⁶ Подробнее об этом см.: Гельфонд М. М. Боратынский как герой лирики последней трети XX века // Художественный текст и культура. Владимир, 2004. Вып. 5. С. 259—266.

²⁷ Кушнер А. Избранное. СПб., 1997. С. 454.

²⁸ Кушнер А. По эту сторону таинственной черты. С. 71.

²⁹ Кушнер А. Избранное. С. 452.

³⁰ Там же. С. 453.

³¹ Кушнер А. «Гармонии таинственная власть...» // К 200-летию Боратынского. М., 2002. С. 14.

³² Седякова О. Памяти Виктора Кривулина // Новое лит. обозрение. 2001. № 52. С. 236. Среди факторов, определивших его поэтическое мировидение, В. Б. Кривулин называл «открытие Баратынского... <...> Шероховатость, сознательная необработанность стиха при колоссальной музыкальной энергетике...» (Кривулин В. Ностальгия по прежним временам [Электронный ресурс]. Режим доступа: // <http://globalrace.narod.ru/krivulin.htm>. Загл. с экрана).

³³ АКТ — литературный самиздат. СПб., 2001. Вып. 3. С. 10 [Электронный ресурс]. Режим доступа: // <http://actsamizdat.narod.ru/act-3.pdf>. Загл. с экрана. Текст стихотворения выправлен О. Б. Кушлиной по материалам архива В. Б. Кривулина.

³⁴ *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. М., 1979. С. 70.

³⁵ *Зубова Л. В.* Виктор Кривулин: свобода в тесноте стихового ряда // *Зубова Л. В.* Языки современной поэзии. М., 2010. С. 129.

³⁶ *Кривулин В. Б.* Охота на Мамонта. СПб., 1997. С. 7.

³⁷ Антология новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны»: В 5 т. / Сост. К. К. Кузьминский и Г. Л. Ковалев. Ньютонвилл, Mass., [1980—1986]. Т. 4-Б [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.kkk-bluelagoon.ru/tom4b/krivulin2.htm>. Загл. с экрана.

³⁸ См.: *Гельфонд М. М.* «На посев леса» Е. А. Баратынского: на границе элегии и инвективы // *Жанр и его метаморфозы в литературах России и Англии.* Владимир, 2010. С. 229—234.

³⁹ *Кривулин В.* Стихи: В 2 т. Париж, 1988. Т. 1. С. 168.

⁴⁰ *Баратынский Е. А.* Полное собрание стихотворений. Л., 1957. С. 129.

⁴¹ *Кривулин В.* Стихи. С. 168.

⁴² *Альми И. Л.* О творческой позиции Е. А. Баратынского конца двадцатых — начала тридцатых годов XIX века (анализ лирики) // *Альми И. Л.* О поэзии и прозе. СПб., 2002. С. 164.

⁴³ Стихотворение из архива В. Б. Кривулина. Выражаю благодарность Ольге Борисовне Кушлиной за предоставление архивных материалов и консультации.

⁴⁴ *Баратынский Е. А.* Полное собрание стихотворений. С. 201.